



*Александр Блок. Фотография М. Наптельбаума, 25 апреля 1921 года*

Блок болен был цингой — лишь в этом было дело. <...>

Блок умер от цинги — диагноз ставлю смело.

*Варлам Шаламов*

...люди, близко наблюдавшие поэта в последние месяцы его жизни, утверждают, что Блок умер оттого, что хотел умереть.

*Эрих Голлербах*

Он был обречённый и знал это, и оттого все его последние годы были проникнуты предсмертной печалью.

*Корней Чуковский*

Блок умирал мучительно. Он кричал и метался до последней минуты в страшной агонии. Те, кто видел его в гробу, с трудом забудут его лицо на смертном одре — лицо, искажённое болью и ужасом.

*Николай Оцун*

## Пролог

Двадцать пятого апреля 1921 года, в восьмом часу вечера, весь литературный Петроград стекался к месту, где на набережной реки Фонтанки расположен известный каждому образованному горожанину Суворинский театр. Поэты, беллетристы, литературоведы, музыканты, художники спешили на творческий вечер Александра Блока — знаменитого поэта-символиста, в 1917 году, после захвата власти в России партией большевиков, одним из немногих среди российских литераторов «с именем» эту власть признавший и удостоенный за это неофициального звания «первого поэта революции».

Поддержав осуществлённый большевиками военный переворот, поэт Блок сочинил несколько «похабных» — по определению его эстетических и идейных оппонентов из числа коллег по перу — произведений: поэму «Двенадцать», стихотворение «Скифы» и эссе «Интеллигенция и Революция». После публикации этих сочинений в начале 1918 года Блок был подвергнут обструкции со стороны тех из них, которые посчитали его поведение предательством миссии российской интеллигенции. Оппоненты обвинили поэта в том, что, приветствуя силовой захват власти и оправдывая разгон Учредительного Собрания, он продался Ленину, Троцкому и их компании — агентам германского Генерального штаба, засланным в Россию для создания в ней хаоса и бардака. Каковым и стала вскоре развязанная главарями большевиков гражданская война.

Ненависть, испытываемая к Блоку многими из тех, кто разошёлся с ним на идейной основе, была поистине безграничной. Так, поэт Владимир Пяст, принадлежавший к числу его ближайших друзей и бывший одним из наиболее восторженных поклонников его творчества, после публикации «Двенадцати» порвал с Блоком отношения и на протяжении последующих трёх лет, вынужденно встречаясь где-либо на людях, смотрел сквозь него и не подавал руки. Те же, кто попытался оказать узурпаторам власти вооружённое сопротивление, свой приговор по «блоковскому делу» вынесли заочно, не считая нужным дожидаться восстановления упразднённого большевиками судопроизводства. «Блок, конечно, человек очень талантливый, это несомненно, — сказал, согласно известному апокрифу, Верховный правитель России адмирал Александр Колчак. — Но, когда мы возьмём Петроград, мы его обязательно повесим. Чтобы другим неповадно было рифмовать “пёс” и “Христос”». Взять Петроград Колчаку было не суждено. Он сам был казнён большевиками, также безо всякого соблюдения судопроизводства — просто убит, и всё. Таковы были страшные реалии гражданской войны, в течение без малого пяти лет полыхавшей на необъятных просторах распавшейся Российской империи.

В годы этой кровавой вакханалии большое число литераторов, не считавших возможным дышать с большевиками одним воздухом, вынужденно оказались за пределами своей родины — как оказалось, навсегда. Некоторые погибли или умерли от различных сопутствующих войне бедствий — эпидемий, голода и холода. Александр Блок всё это время безвыездно провёл в Петрограде, в своей квартире в доме № 57 на Офицерской улице. Он принимал активное участие в деятельности создаваемых большевиками «из ничего» организаций, призванных насаждать на контролируемой ими территории новую, «пролетарскую» культуру. Стихов, правда, после «Двенадцати» и «Скифов» более не писал. Когда знакомые интересовались — почему? — невнятно отвечал, что — не может, не выходит, что время теперь не такое, чтобы этим заниматься. Ответы эти свидетельствовали только об одном: поэт Блок переживает глубочайший творческий кризис, который неизвестно сколько может продлиться и неизвестно когда и чем закончиться.

И вот наконец весной 1921-го, на четвёртом году большевистской власти, по околотературным кругам Петрограда поползли слухи о том, что кризис, переживаемый Блоком, преодолён и что вскоре «первый поэт революции» даст большой творческий вечер, на котором будет читать как старые, хорошо известные, так, возможно, и новые стихи. Поклонники готовились увидеть и услышать нечто особенное и намеревались выказать любимому поэту самый восторженный приём. О том, что в действительности произойдёт на творческом вечере Блока в Суворинском театре, никто из них, разумеется, и не догадывался.

## Печать на челе

Вечером 25 апреля зрительный зал Большого драматического театра (названного так после того, как большевики «экспроприировали» здание у его законных владельцев — семьи покойного медиа-магната Алексея Суворина) был — в буквальном смысле этого идиоматического выражения — набит так, что и яблоку упасть было некуда. Пришедшие со всех концов города люди заняли не только все кресла в партере и в ложах, но и стояли в проходах, подпирая спинами театральные стены.

Вечер состоял из двух отделений. В первом выступил литератор Корней Чуковский, прочитавший зрителям лекцию о творчестве Александра Блока; не скупясь на восторженные оценки, Чуковский превозносил его поэтический дар и ставил Блока по уровню значительности в один ряд с Фёдором Тютчевым и Афанасием Фетом.

После перерыва на сцену вышел сам Александр Блок.

Многие из тех, кто оставили воспоминания о своём знакомстве с этим человеком, присутствовавшие на данном вечере, писали, что самая атмосфера, сгустившаяся в тот момент в театральном зале, вызывала ощущение смутной, безотчётной тревоги. Такой, которая не имеет никакого логического объяснения,

но, однажды возникнув, уже не позволяет себя игнорировать или делать вид, что ничего особенного вокруг не происходит.

Беллетрист Евгений Замятин, не принадлежавший к числу близких друзей Блока, но постоянно общавшийся с ним в течение предшествующих двух с половиной лет, вспоминая тот день, утверждал, что выглядел Блок неважно, читал стихи с бледным, усталым лицом, а самая обстановка его выступления была проникнута траурной, печальной и неживой торжественностью. Замятину запомнился и голос из публики, раздавшийся откуда-то из глубины зала из-за его спины: «Это поминки какие-то!»

Поэт Владислав Ходасевич, также присутствовавший на вечере, вспоминал:

«Блок вышел во втором отделении, после антракта. <...> Он прочитал немного, всего лишь несколько стихотворений — с проникновенною простотой и глубокой серьёзностью, о которой лучше всего сказать словом Пушкина — “с важностью”. Он произносил слова очень медленно <...>. Читал отчётливо, ясно, выговаривая каждую букву, но при том шевелил лишь губами, не разжимая зубов. Когда ему аплодировали, он не выказывал ни благодарности, ни притворного невнимания, ни смущения. С неподвижным лицом опускал глаза, смотрел в землю и терпеливо ждал тишины. <...>

То и дело ему кричали: «“Двенадцать”, “Двенадцать”», но он, казалось, не слышал этого. Только глядел всё угрюмее, сжимал зубы всё крепче. <...> всё приметнее становилось, что читает он машинально, лишь повторяя привычные, давно затверженные интонации, и что это притворство ему мучительно. <...> страдание и отчуждённость наполняли в тот вечер всё его существо».

Поэт Вильгельм Зоргенфрей, ещё с 1900-х годов принадлежавший к крайне узкому кругу самых близких блоковских друзей и также присутствовавший вечером 25 апреля в зале Суворинского театра, в своих воспоминаниях о Блоке свидетельствовал:

«Необычайная мрачность царила в театре, слабо освещённом со сцены синеватым светом. <...> Этого настроения не развеял появившийся на эстраде Блок. <...> За привычной уже суровостью облика не замечалось сосредоточенности и страсти; в голосе, внятном и ровном, как всегда, не было животворящей силы. Читал он немного и недолго; на требование новых стихов отвечал, выходя из боковой кулисы, короткими поклонами и неохотно читал вновь; только выйдя в последний раз к рампе, с воткнутым в петлицу цветком, улыбнулся собравшимся внизу слабо и болезненно».

Покинув наконец сцену, несмотря на не смолкающие аплодисменты и настойчивые призывы прочесть что-нибудь ещё, Блок укрылся в гримуборной. Туда к нему пришёл знаменитый петроградский фотограф Моисей Наппельбаум и попросил разрешения сделать его фотопортрет. «Только мой? — уточнил Блок. — А Корнея Ивановича как же?» — «Разумеется, разумеется! — тут же согласился Наппельбаум. — И господина Чуковского тоже. Вместе с вами. Но сначала — ваш».

Вспыхнул магний. Мелькнула крышка объектива. Фотокамера остановила мгновение.



*Александр Блок с Корнеем Чуковским,  
фотография Моисея Напельбаума,  
25 апреля 1921 года*

Есть такое общеизвестное выражение: «На его чело легла печать смерти». Так возвышенно-поэтически говорят о человеке, по внешнему виду которого обладающие определёнными способностями — чаще всего их называют «паранормальными» — могут почувствовать, что он скоро умрёт. При этом никаких реальных признаков близящегося ухода из земной жизни во внешности этого человека нет, есть лишь нечто такое, что источает его облик и что невозможно точно сформулировать в словах — ощущение, предчувствие — не более того. Именно такое ощущение оставляет эта фотография Александра Блока, сделанная Моисеем Напельбаумом 25 апреля 1921 года — в день, считая от которого, жизни автора «Незнакомки», «Снежной маски» и «Возмездия» оставалось три месяца и тринадцать дней.

## Московские гастроли

Первого мая 1921 года, пять дней спустя после столь странно завершившегося творческого вечера, Александр Блок выехал из Петрограда в Москву — выступать на таких же точно вечерах, серия которых была организована актрисой Облонской, выступившей в роли его антрепренёра. В поездке Блока сопровождали Корней Чуковский, согласившийся выступать на предстоящих гастролях в том же качестве, что и на прошедшем мероприятии в Суворинском театре, то есть лектора, занимающего первое отделение, и Самуил Алянский, близкий друг поэта и его издатель, владелец петроградского издательства «Алконост».

Сопровождающие Блока обратили внимание на то, что тот передвигается неуверенно, прихрамывает, помогая себе тростью. Когда разместились в купе, Чуковский поинтересовался — что случилось? травма? Блок кивнул на вытянутую ногу и коротко ответил: «Болит». И, уточняя, пояснил: «Должно быть, подагра». Однако фиксировать внимание спутников на своём недомогании он явно не стремился и, как вспоминал Чуковский, всю дорогу в поезде был весел, разговорчив, читал свои и чужие стихи и угощал их с Алянским взятым из дома пасхальным куличом.

На столичном перроне петроградских гостей встречала Надежда Коган, урождённая Нолле, переводчица, жена литературоведа Петра Когана, известная

всей околосредовой Москве как одна из любовниц Блока. Коганша (как фамильярно именовала её та же московская публика) восседала в роскошном автомобиле с укреплённым на нём огромным красным флагом. Автомобиль — как сразу же определил по его виду Блок, явно украденный когда-то из царского гаража — принадлежал члену Политбюро ЦК РКП(б) и председателю Московского совдепа Льву Каменеву и был прислан на вокзал специально для того, чтобы встретить Блока и отвезти его к месту временного размещения — к дому на Арбате, в котором проживали супруги Коганы.

Пикантность ситуации заключалась в том, что встречавшая Блока, Чуковский и Алянского Надежда Коган находилась на восьмом месяце беременности, причём всем — включая её мужа, Петра Когана, — было хорошо известно, кто именно является отцом её будущего ребёнка. Не испытывал на сей счёт сомнений и сам Блок, хотя прямых доказательств признания им этого факта он, насколько известно, не оставил и в переписке с Надеждой старательно избегал использования слов, по которым можно было бы сделать вывод, что своё отцовство он признаёт.

Московские гастроли с первого дня пошли наперекосяк.

Неизвестно, какой — талантливой или бездарной — актрисой была их устроительница мадам Облонская, но антрепренёром она оказалась никудышным. Перед началом первого выступления, состоявшегося 3 мая в Политехническом музее, когда Блок увидел полупустой зал, наполненный «случайной» публикой с преобладанием в ней явно выраженного люмпен-пролетарского элемента, он сначала отказывался выходить на сцену, и лишь благодаря настойчивым уговорам Чуковского согласился выступить. На двух последующих вечерах, состоявшихся в том же зале 5-го и 9 мая, ситуация была уже существенно лучше — и публики заметно прибавилось числом, и физиономии в аудитории оказались уже не такими деклассированными, как в первый раз. Однако настроение Блока от этого никоим образом не улучшилось, поскольку финансовые сборы от всех трёх выступлений оказались ничтожны, а цветы, которыми его завалили поклонники после третьего, невозможно было использовать в качестве свободно конвертируемой валюты.

Во время ещё одного выступления, состоявшегося 6 мая в зале «Дома печати» на Никитском бульваре, произошёл крайне неприятный инцидент. Один из слушателей — по утверждению Корнея Чуковского, «какой-то чёрный тов. Струве», — начал выкрикивать, перебивая Блока, что его стихи — это мертвечина, а сам он — мертвец, что он «внутренне мёртв». Будучи глубоко оскорблённым таким хамством, Блок оборвал чтение и ушёл со сцены за кулисы, но, опять-таки вследствие уговоров бросившегося за ним Чуковского, вернулся и продолжил выступать. Тем не менее произошедшее не могло, разумеется, не сказаться на его психоэмоциональном состоянии.

Вечером того же дня Блок выступил в Мерзляковском переулке, на собрании участников литературно-художественного кружка «Studio Italiano», возглавлявшегося литератором Павлом Муратовым. В этой аудитории, в отличие от предше-

ствующей, приём ему был оказан исключительно эмоционально тёплым. Шесть лет спустя Муратов, к тому моменту уже сбежавший из-под большевистского ига и находившийся на Западе, вспоминал о последней встрече с Блоком так:

«Я смотрел сбоку на его тяжёлый и правильный профиль, видевший столько житейских бурь и вот смягчённый, видимо, этой минутой бережного внимания, этим ветром сочувствия. Невольно думалось: <...> каким образом могло случиться, что этот столь многими любимый в прекрасном своём даровании человек столь явно одинок и несчастен, столь горестно молчалив под вздорное жужжание чуковских и скучное гудение коганов».

Перемещаясь из квартиры в квартиру, из зала в зал то на автомобиле, то на извозчиках, дерущих по 10–15–20 тысяч за одну поездку, постоянно находясь в окружении беременной любовницы и её мужа, своих сопровождающих — Чуковского и Алянского и кучки восторженных московских поклонников и поклонниц, — Блок всё же обращал внимание на детали окружающего его ландшафта. Которые его совсем не радовали:

«В Москве зверски выбрасывают из квартир массу жильцов — интеллигенции, музыкантов, врачей и т. д. Москва хуже, чем в прошлом году, но народу много, <...> улица шумная, носятся автомобили <...>».

Параллельно с выступлениями в разных аудиториях Блок пытался решить свои театральные дела. Благодаря настойчивости, проявленной Надеждой Коган, выступившей в роли его литературного агента, ему удалось получить 1 000 000 рублей аванса в счёт гонорара за будущую постановку его пьесы «Роза и Крест» в Театре Незлобина. Это было единственное по-настоящему приятное для него событие за все десять дней пребывания в Москве.

После успешно прошедшего третьего творческого вечера в Политехническом музее 9 мая Чуковский принялся уговаривать Блока сделать там же ещё один — для дополнительного заработка, поскольку народ наконец пошёл. Блок с большой неохотой согласился — пребывание в Москве уже сильно его тяготило, он стремился как можно скорее вернуться домой; кроме того, его физическое состояние ухудшалось буквально на глазах, и сопровождающие не могли этого не видеть. Тем не менее он дал согласие, и четвёртый по счёту вечер в Политехническом был назначен на 14 мая 1921 года. Однако, как показало дальнейшее развитие событий, состояться ему было не суждено.

В один из дней, свободных от выступлений, к Блоку, находившемуся в квартире супругов Коган, была приглашена докторша Александра Канель. Она служила в Кремлёвской больнице, обслуживающей высших бонз большевистского режима и считалась терапевтом-диагностом высокого уровня. Осмотрев Блока и выслушав его жалобы на недомогание, Канель диагностировала у него сильное истощение и малокровие, которое она приписала следствию недостаточного питания и однообразной пищи, а также сильную неврастению, цинготные опухоли и расширение вен на ногах. При этом, как утверждала Канель, никаких органических изменений у пациента не наблюдается, а вся проявленная у него симптома-



*Блок в домашнем спектакле в Боблово.  
Фотография И.Д. Менделеева, 1899*

тика — и слабость, и испарина при ходьбе, и плохой сон — всё происходит от нервного и физического истощения. Рекомендации, полученные Блоком от врача Кремлёвки, оказались самыми примитивными: мало ходить, больше лежать, не нервничать и хорошо питаться.

Как именно воспринял Блок поставленный ему кремлёвской докторшей диагноз и как отреагировал на полученные рекомендации — неизвестно. По-видимому, с присущим ему фатализмом — что будет, то будет, а чего не будет, о том и говорить незачем.

Корней Чуковский, во все дни пребывания Блока в Москве неотступно находившийся подле него, то и дело обращал внимание на то, что с поэтом творится что-то неладное. Что именно — понять он был не в состоянии, но зловещие предзнаменования грядущей трагедии виделась ему постоянно. Особенно напугала Чуковского

история, приключившаяся в один из последних дней пребывания Блока в Москве — не то 8-го, не то 9 мая 1921 года:

«Мы сидели с ним вечером за чайным столом и беседовали. Я что-то говорил, не глядя на него, и вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: передо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдалённо не похожий на Блока. Жёсткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И главное: он был явно отрезан от всех, слеп и глух ко всему человеческому.

— Вы ли это, Александр Александрович?! — крикнул я, но он даже не посмотрел на меня».

Как утверждал Чуковский далее, не в силах вынести вида живого мертвеца, он поднялся из-за стола, взял шляпу и тихо ушёл. Больше он Блока никогда не видел — ни живым, ни мёртвым.

## Первый приступ

Одиннадцатого мая Александр Блок и Самуил Алянский вернулись из Москвы в Петроград; Чуковский остался в столице Советской России. На вокзале Блока встречала Любовь Менделеева. Она посадила мужа на извозчика и отвезла домой, на Офицерскую.



Вернувшись в свою квартиру, Блок кратко описал в дневнике важнейшие события, случившиеся с ним за время пребывания в Москве, а на следующий день написал письмо с отчётом о поездке матери. Александра Андреевна ещё 4 мая уехала в Лугу, маленький городок, расположенный в 140 верстах к югу от Петрограда. Там она остановилась в доме у своей старшей сестры, Марии Бекетовой, где намеревалась провести всё предстоящее лето. Отъезд матери из квартиры был вынужденной мерой, поскольку отношения между свекровью и невесткой к тому времени накалились уже до такой степени, что скандал вспыхивал по любому, самому ничтожному поводу. Эти две женщины были, как говорится, органически между собой несовместимы, что со всей отчётливостью и проявилось в течение последнего года, когда они были вынуждены проживать в одной квартире.

В письме, адресованном матери, касаясь состояния своего здоровья, Блок пересказал результаты консультирования его кремлёвской докторшей Александрой Канель и сообщил о том, как он чувствовал себя во время пребывания в Москве и что происходит после возвращения оттуда:

«В Москве мне было очень трудно, всё время болели ноги и рука, рука и до сих пор болит, так что трудно писать; читал я как во сне, почти всё время ездил на автомобилях и на извозчиках. <...> Сейчас ноги почти не болят, мешает главн<ым> обр<азом> боль в руке, слабость и подавленность».

Постоянные болевые ощущения в конечностях — вернейший признак невралгии. Которая, в свою очередь, может быть вызвана множеством причин и являться не более чем фоном, на котором развивается какое-то иное, гораздо более опасное заболевание, до поры не проявляющее своего присутствия в человеческом организме. В случае болезни Александра Блока этот временной промежуток составил несколько недель, вряд ли больше одного месяца.

Известна точная дата, когда болезнь со всей отчётливостью обнаружила своё присутствие в организме Блока. Это произошло через шесть дней после его возвращения из Москвы. В дневниковой записи, датированной 24 сентября 1921 года, Любовь Менделеева-Блок вспоминала о том, как начинался главный кошмар её тогдашней жизни:

«17 мая, во вторник, когда я пришла откуда-то, он (Александр Блок. — П. М.) лежал на кушетке в комнате Ал<ександры> А<ндреевны>, позвал меня и сказал, что у него, вероятно, жар; смерили — оказалось 37,6; уложили его в постель; <...>. Ломило всё тело, особенно руки и ноги — что у него было всю зиму. Ночью был плохой сон, испарина, нет чувства отдыха утром, тяжёлые кошмары — это его особенно мучило».

Тем же вечером, то есть 17 мая, к Блоку был приглашён доктор Александр Пекелис. Он проживал в том же доме на Офицерской улице, что и семейство Блоков, и был у них вроде семейного врача. Пекелису уже приводилось лечить и самого Блока, и его жену, так что, как всякий семейный врач, он обладал вполне достаточной информацией о состоянии здоровья своих пациентов, чтобы, ознакомившись с проявившейся симптоматикой, поставить верный диагноз.

То, что доктор Пекелис увидел при этом посещении квартиры Блоков, ему сильно не понравилось. Поскольку, выслушав и осмотрев пациента, он не смог понять — чем именно тот заболел. Задав традиционный вопрос: «На что жалуетесь?» — врач услышал, что жалуется больной на постоянную непроходящую усталость, одышку, ломоту в конечностях, особенно в правой руке, на то, что плохо слушаются ноги. А также на то, что он всё время чувствует, как стучит в груди сердце (чего при нормальной работе этого органа человек просто не должен замечать). Также Блок сообщил, что плохо спит, периодически испытывает приступы сильного эмоционального раздражения — по любому, подчас самому бесосновательному поводу. Которые, однако, быстро проходят — но лишь для того, чтобы вскоре проявиться с новой силой. Всё это вместе он считал проявлениями неврастения — той самой, что была недавно диагностирована у него врачом Кремлёвской больницы Александрой Канель. Кроме того, за последние дни ко всему прочему прибавились и такие симптомы, как кратковременные провалы памяти — те самые выпадения из реальности, одно из которых произвело столь сильное впечатление на Корнея Чуковского.

По утверждению вдовы Блока, психическое состояние мужа ей сразу же показалось ненормальным, и она обратила на это внимание доктора Пекелиса. Тот, по её словам, с нею согласился, однако не смог сразу же внятно сформулировать — в чём именно эта ненормальность в его поведении проявляется. Это объяснялось не тем, что Пекелис был терапевтом, а не психиатром — и, как следствие, не имел права диагностировать психические заболевания, — но тем, что жена Блока, также не обладая познаниями в психиатрии, имела все основания для того, чтобы ставить мужу собственный диагноз.

За долгие годы совместной жизни с Блоком Любовь Менделеева, как и всякая замужняя женщина, хорошо изучила и характер, и поведение мужчины, с которым она жила. Исходя из полученного эмпирического опыта, она считала, что обычное — по её определению «всегдашнее» — психическое состояние её мужа резко отличается от того, что принято считать нормой среди так называемых «простых» людей, и, по сути, представляет собой явно выраженное от неё отклонение. Эти умозаключения основывались на её наблюдениях за его настроением, которое постоянно менялось — «от детского, беззаветного веселья к мрачному, удручённому пессимизму»; также она отмечала в характере Александра такие настораживающие черты, как «несопротивление никогда ничему плохому» и «вспышки раздражения с битьём мебели и посуды». При этом в прежние времена ей удавалось легко купировать эти приступы мужниной агрессии:

«После них прежде он как-то испуганно начинал плакать, хватался за голову, говорил: “Что же это со мною? Ты же видишь!” — в такие минуты, как бы он ни обидел меня перед этим, он сейчас же становился ребёнком для меня, я испытывала ужас, что только что говорила с ним как со взрослым, ждала и требовала, сердце разрывалось на части, я бросалась к нему, и он так же по-детски быстро поддавался успокаивающим, защищающим рукам, ласкам, словам <...>».

Однако теперь, в середине мая 1921 года, Любовь Менделеева обратила внимание на то, что эти проявления несдержанности в поведении её мужа значительно усилились, хотя и «не сопровождались какими-нибудь клиническими признаками ненормальности». Тем не менее для неё и этого уже было вполне достаточно, чтобы утверждать, что, «будь они (приступы блоковской раздражительности и агрессии. — П. М.) у простого человека — наверно, производили бы картину настоящей душевной болезни».

Не сумев определить, что за недуг мучает Блока, доктор Пекелис принял единственно разумное в его ситуации решение — порекомендовал больному стараться не реагировать ни на какие раздражающие его нервную систему факторы, исключить любые физические и эмоциональные нагрузки, ограничить круг общения и соблюдать постельный режим. Одним словом — покой, покой и ещё раз покой. Он же займётся наблюдениями с тем, чтобы как можно скорее выявить клиническую картину заболевания, после чего можно будет вести речь о назначении терапии. На том и простились. Как оказалось — ненадолго.

## Второй приступ

Интервал между первым и вторым приступами болезни составил десять дней. Всё это время Блок провёл в своей квартире, стараясь соблюдать предписанный ему доктором Пекелисом постельный режим. Однако от постоянного пребывания в лежачем состоянии ему становилось только хуже — участились приступы удушья, с каждым днём нарастала сердечная аритмия. Также участились тревожные симптомы в поведении Блока, свидетельствующие о быстром развитии у него невроза. Вспоминая о том, что происходило в эти тревожные дни с её мужем, Любовь Менделеева свидетельствовала:

«Раз как-то утром он встал и не ложился опять, сидел в кресле у круглого столика около печки. Я уговаривала его опять лечь, говорила, что ноги отекут — он страшно раздражался с ужасом и слезами: “Да что ты с пустяками! Что ноги, когда мне сны страшные снятся, видения страшные, если начинаю засыпать...” При этом он хватал и бросал со стола на пол всё, что там было, в том числе большую голубую кустарную вазу, которую я ему подарила и которую он прежде любил, и своё маленькое карманное зеркало, в которое он всегда смотрелся <...>. Зеркало разбилось вдребезги».

Нет надобности разьяснять — что означает внезапно разбившееся в доме зеркало. Скептики из числа упёртых материалистов могут сколько угодно с пеной у рта доказывать, что это не означает ничего особенного, тем более это происшествие не следует трактовать как знак грядущей смерти кого-то из живущих в этом доме людей. Между тем эта примета работает всегда — и тот, кто не желает этого признавать, поступает как страус, при приближении опасности сующий головы в песок — чтобы не видеть надвигающейся беды и надеяться, что от этого она пройдёт мимо. Любовь Менделеева утверждала, что, увидев разлетевшееся на

множество осколков зеркальце, она «не смогла выгнать из сердца ужас, который так и остался, притаившись на дне». Также она не могла не обратить внимание на то, что у Александра появилась непреодолимая тяга к разрушению окружающей его обстановки:

«Вообще у него в начале болезни была страшная потребность бить и ломать: несколько стульев, посуду, а раз утром, опять-таки он ходил, ходил по квартире в раздражении, потом вошёл из передней в свою комнату, закрыл за собой дверь, и сейчас же раздались удары и что-то шумно посыпалось. Я вошла, боясь, что он принесёт себе какой-нибудь вред, но он уже кончил разбивать кочергой стоявшего на шкапу Аполлона. Это битьё его успокоило, и на моё восклицание удивления, не очень одобрительное, он спокойно отвечал: “А я хотел посмотреть, на сколько кусков распадётся эта грязная рожа”».

Такое поведение уже вполне можно рассматривать как явное проявление психического нездоровья. На что не мог не обратить внимания также и доктор Александр Пекелис. К концу мая он пришёл к выводу, что его пациент страдает не от одного лишь нервного истощения, как ему представлялось в начале наблюдений, и отменил предписанный ему постельный режим. Тут же — 27 мая на Блока обрушился второй приступ болезни, продолжавшийся около двух суток и оказавшийся гораздо сильнее первого.

Придя в себя, Блок написал несколько писем — друзьям и матери в Лугу. В них он кратко упоминал о том, что с ним происходит, и упоминания эти, наверняка сознательно затушёванные, чтобы не тревожить близких ему людей, в особенности мать, свидетельствуют о том, что дело было уже совсем нехорошо. В письме матери, датированном 28 мая 1921 года, он сообщал:

«<...> кроме болезни, ни о чём не могу писать и трудно — слабость. У меня уже вторые сутки — сердечный припадок, <...> по словам Пекелиса, я две ночи почти не спал, температура то ниже, то выше 38. Принимаю массу лекарств, некоторые немного помогают. Встаю с постели редко, больше сижу там, лежать нельзя из-за сердца».

В написанном на следующий день письме Вильгельму Зоргенфрею Блок информировал о том же:

«Чувствую себя в первый раз в жизни так: кроме истощения, цинги, нервов — такой сердечный припадок, что не спал уж две ночи».

Наконец, в последнем письме матери, датированном 4 июня 1921 года, он описал своё нынешнее физическое состояние следующим образом:

«Делать я ничего не могу, потому что температура редко нормальная, всё болит, трудно дышать и т. д. В чём дело, неизвестно. Если нервы несколько поправятся, то можно будет узнать, настоящая ли это сердечная болезнь или только невроты. Нужно понизить температуру. Я принимаю водевильное количество лекарств».

После этого их переписка прервалась. Пребывая в состоянии крайней обеспокоенности, Александра Андреевна примчалась из Луги в Петроград, надеясь



*Слева: А. Блок с женой. Справа: А. Блок с матерью.  
На балконе своего дома в Петрограде, 1919 год*

удостовериться, что дело с её сыном обстоит не так страшно, как она это себе представляла. Однако то, что она увидела, повергло мать Блока в состояние тяжелейшего психоэмоционального шока. А поскольку отношения между нею и невесткой по-прежнему оставляли, как принято выражаться в подобных случаях, желать много-много лучшего, то и начавшаяся беда не могла сблизить этих двух женщин. Следствием вновь разгоревшейся между ними склоки стало то, что жена Блока в ультимативной форме потребовала от свекрови немедленно покинуть квартиру и уехать обратно в Лугу — «чтобы не волновать Сашеньку». Поартачившись для виду, Александра Андреевна была вынуждена согласиться с требованием и подчинилась — в надежде, что невестке удастся спасти её сына без материнского участия. Надежда, как известно, — это последнее, что оставляет человека, когда он пребывает в отчаянии от свалившихся на него несчастий и не видит из них выхода.

## **Попытка спасения**

Двадцать девятого мая 1921 года, когда Блок, находясь в своей квартире на Офицерской, медленно приходил в себя после второго приступа поразившей его непонятной болезни, из Петрограда в Москву отправилось письмо следующего содержания:

«Анатолий Васильевич!

У Александра Александровича Блока — цинга, кроме того, последнее время он находится в таком повышенно нервном состоянии, что врачи и близкие его боятся возникновения серьёзной психической болезни. А также участились припадки астмы, которой Блок страдает давно уже.

Поэтому не можете ли Вы похлопотать для Блока — в спешном порядке — выезд в Финляндию, где я мог бы помочь ему устроиться в одной из лучших санаторий? Сделайте возможное, очень прошу Вас!

Жму руку.

А. Пешков».

Ни для кого из тех, кто имеет хотя бы самое приблизительное представление об истории российской литературы советского периода, не представит труда определить — кто является адресатом данного письма и кем оно было написано. Анатолий Васильевич — это большевик Луначарский, занимавший в правительстве Советской России пост наркома просвещения. А Пешков — подлинная фамилия Максима Горького, «буревестника революции» и «классика пролетарской литературы», как принято было именовать этого литератора в учебниках для советской средней школы, по которым в своё время привелось знакомиться с этим предметом и автору данных строк.

От кого Горький узнал о болезни Блока — точно не установлено, да это и не имеет принципиального значения. Значение имеет то обстоятельство, что, узнав, он немедленно стал предпринимать действия по оказанию помощи любимому им «первому поэту революции».

Получив письмо Горького, Луначарский 7 июня переправил его в ЦК РКП(б) — для рассмотрения. Столь длительная задержка — не меньше недели после получения — объясняется, вероятнее всего, тем, что по тональности письма адресат не сразу смог понять, насколько серьёзно то, о чём ему сообщалось. Но очень скоро он это осознал. Поскольку в тот же самый день, 7 июня 1921 года, из Петрограда в Москву было отправлено ещё одно письмо на ту же тему; однако на сей раз его адресатом был уже не нарком просвещения РСФСР, а её глава — председатель Совета народных комиссаров. Отправителем же стало Правление Петроградского отдела Всероссийского союза писателей. Обращаясь к Владимиру Ульянову-Ленину, подписавшие письмо литераторы — Аким Волынский, Пётр Губер, Александр Тихонов (Серебров) и другие — информировали о возникшей проблеме и предлагали способ её решения:

«Правлением Петроградского отдела Всероссийского профессионального Союза писателей, в заседании от 31 мая с. г., было заслушано сообщение о тяжёлой болезни поэта А. А. Блока, который в настоящее время страдает грудной жабой, цингой и нервным расстройством. По заявлению врачей, пользующих больного, единственной мерой, которая могла бы его спасти и вернуть к творческой работе, — является немедленная отправка А. Блока в одну из санаторий, предпочтительно финляндскую, где он будет иметь необходимый уход и индивидуальное питание.

Ввиду этого правление Союза, в твёрдой уверенности, что оно говорит от имени всей русской литературы, просит безотлагательно выдать А. А. Блоку и его жене разрешение на выезд в Финляндию.

Правление полагает, что к этому ходатайству о спасении жизни Блока присоединится каждый, кому дорога русская литература, одним из лучших современных представителей которой он является».

Реакции — ни положительной, ни отрицательной — отправители этого письма от его адресата не дождались. Тогда они передали его копию Максиму Горькому, сопроводив настоятельной просьбой — передать по назначению ещё раз, используя для этого имеющиеся в его распоряжении возможности. Горький просьбу руководства Петроградского отдела Всероссийского союза писателей выполнил, но произошло это только в конце июня, когда он оказался в Москве и стал лично ходатайствовать перед большевистским правительством о разрешении Блоку выехать для лечения за границу.

### **«Мы потеряли Блока»**

После некоторого улучшения в состоянии здоровья Блока, наблюдавшегося доктором Пекелисом в первых числах июня, со второй декады месяца развитие заболевания приняло так называемую «отрицательную динамику». Это означало, что с каждым днём его пациенту становилось всё хуже и хуже. Принимавшиеся Блоком «в водевильном количестве» фармакологические препараты перестали оказывать терапевтическое действие. Больной стремительно слабел, постоянно жаловался на боли в груди, испытывал вспышки беспричинной агрессии по отношению к ухаживавшей за ним жене; при этом малейшее эмоциональное раздражение вызывало у него приступы удушья, от которых он не мог оправиться часами. У Блока был полностью нарушен сон, он говорил, что боится засыпать, потому что во сне ему видятся жуткие кошмары, терзающие его сильнее сердечных и астматических припадков.

В такой обстановке 18 июня 1921 года был созван врачебный консилиум. В его состав помимо лечащего врача Блока — Александра Пекелиса вошли также профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии Военно-медицинской академии Пётр Троицкий и врач-невропатолог, заведующий неврологическим отделением Обуховской больницы Эрнест Гизе. Осмотрев больного и ознакомившись с клинической картиной болезни по состоянию на текущий момент, участники консилиума составили медицинское заключение:

«Мы, нижеподписавшиеся, освидетельствовав 18/VI 1921 состояние здоровья Александра Александровича Блока и находим, что он страдает хронической болезнью сердца с обострением эндокардита и субъективным ощущением стенокардического порядка (Subocarditis chron. Exacerbata). Со стороны нервной системы имеются явления неврастения, резко выраженной.

А. А. Блок нуждается в продолжительном лечении, причём в ближайшем будущем необходимо помещение в одну из хорошо оборудованных, со специальной методой для лечения сердечных больных, санаторий.

Профессор Военно-медицинской академии и Медицинского института П. Троицкий.

Заведующий нервным отделением мужской Обуховской больницы доктор медицины Э. Гизе.

Доктор медицины Пекелис».

В тот же день профессор Пётр Троицкий сделал копию данного заключения и отправил её Максиму Горькому, приложив к документу следующее сопроводительное письмо:

«18 июня 1921 г.»

Многоуважаемый Алексей Максимович!

Вы получите вместе с этим письмом наше общее свидетельство о болезни А. А. Блока. В нём мы не писали о необходимости переезда больного за границу и помещен<ия> в санатор<ию> там. Но частным образом я хочу засвидетельствовать Вам, что для него положительно необходима именно иностранная санатория.

Должен добавить, что состояние Блока серьёзное, требует самого внимательного лечения.

Никаких преувеличений в моих словах нет.

Уважающ<ий> Вас профессор П. Троицкий».

Ознакомившись с медицинским заключением, Горький понял, что этот документ может сыграть важнейшую роль в деле положительного решения «блоковского вопроса». И, не доверяя советской почте, решил лично передать его в те инстанции, от которых это решение будет зависеть. Тем более что его собственные жизненные обстоятельства этому способствовали — «классик пролетарской литературы» давно уже намеревался отправиться в Москву, чтобы пожаловаться Ленину на произвол и репрессии, творимые в Петрограде местным большевистским царьком Григорием Зиновьевым и его подручными — такими, как председатель Петроградской Чеки Борис Семёнов.

Этот последний, едва вступив в апреле 1921 года в означенную должность, развернул в Петрограде массовый террор против «дворянской интеллигенции». Следствием чего стала фабрикация его подручными «Дела о контрреволюционной “Петроградской боевой организации”», получившего зловещую известность также под названием «Заговор Таганцева» — по фамилии назначенного гэбистами его «руководителем» географа Владимира Таганцева. «Раскрытию» этого никогда не существовавшего в реальности заговора предшествовала прокатившаяся по городу в конце мая волна арестов представителей интеллектуальной элиты России — учёных, преподавателей, врачей, литераторов. Так, только в одну ночь с 26-го на 27 мая было арестовано 180 человек, в том числе профессора Осипов, Шуркевич и Щерба. Узнав об этом, Горький сразу же выступил с осуждением творимой гэбистами вакханалии и потребовал от Ленина освободить арестованных



профессоров. Благодаря его заступничеству нескольких человек удалось вытащить из-за решётки, за что Зиновьев (который стоял за спиной Семёнова и был главным вдохновителем погрома), и без того Горького ненавидевший, возненавидел его ещё сильнее и только и ждал удобного момента, чтобы расправиться с «буревестником революции».

Двадцать третьего июня Горький выехал в Москву. На следующий день он передал письма Акима Волынского и Петра Троицкого и заключение медицинского консилиума о болезни Блока в канцелярию Управления делами Совета народных комиссаров РСФСР, где эти документы были зарегистрированы как «входящий № 9562».

Разумеется, этим участие Горького в решении «блоковского вопроса» не ограничилось. Имея беспрепятственный допуск в Кремль и пользуясь возможностью личного общения с высшими бонзами большевистского режима, он мог использовать присущий ему дар красноречия для оказания эмоционального воздействия на тех, кого следовало подгонять, чтобы они не только делали вид, что заинтересованы в помощи «первому поэту революции», но и реально предпринимали соответствующие действия. Сам Горький, вследствие присущего его натуре генетического оптимизма, был совершенно убеждён в возможности благоприятного для Блока исхода болезни. Обусловлено это, несомненно, было тем, что в тот момент он ещё не понимал — что в действительности означают слова «состояние Блока серьёзное» из адресованного ему письма профессора Троицкого. Означали же эти слова — по утверждению Марии Бекетовой — вот что:

«[На медицинском консилиуме] Троицкий <...> нашёл положение крайне серьёзным и тогда же сказал Пекелису: “Мы потеряли Блока”».

В этих словах профессора Троицкого не было ни малейшего преувеличения. Поставленный консилиумом под его председательством диагноз — острый прогрессирующий эндокардит, то есть хроническое воспаление внутренней оболочки сердца — был равнозначен смертному приговору. Единственной возможностью попытаться спасти жизнь Блока была хирургическая операция — под общим наркозом, с взламыванием грудной клетки и заменой сердечных клапанов. Что и на нынешнем уровне развития кардиологии считается делом крайне опасным, имеющим шансы на успех, составляющие пятьдесят на пятьдесят — или больной выживет, или нет. По тогдашним же — столетней давности — медицинским представлениям такая операция представлялась чем-то из области научной фантастики.

Александр Блок был обречён. Его лечащий врач Пекелис это прекрасно понимал. Однако, руководствуясь искажёнными представлениями о сущности врачебной этики, скрыл поставленный консилиумом диагноз как от самого пациента, так и от его жены.

В тот же день, 18 июня Александр Блок кратко описал своё физическое состояние в дневнике. Запись заканчивалась фразой: «Мне трудно дышать, сердце заняло полгруды».

## Лубянка против

Раздражённый тем, что по удовлетворению его ходатайства о помощи больному Блоку ничего не предпринимается, Максим Горький с первых дней пребывания в Москве нажимал на все кнопки и стучал всеми имевшимися в его распоряжении колотушками. Производимый им шум подействовал — гидра большевистской бюрократии зашевелилась и приподняла некоторые свои головы. И тут же выяснилось, что среди них имеются и такие, которым привычнее находящегося поблизости человека слопать, нежели отпустить.

Двадцать девятого июня в Кремль поступила депеша следующего содержания:  
«28 июня 1921 г. № 5937/с

Сов<ершенно> секретно. В<есьма> срочно.

В ЦК РКП, тов. Молотову.

В ИноВЧК в настоящий момент имеются заявления ряда литераторов, в частности Венгеровой, Блока, Сологуба — о выезде за границу.

Принимая во внимание, что уехавшие за границу литераторы ведут самую активную кампанию против Советской России и что некоторые из них, как Бальмонт, Куприн, Бунин, не останавливаются перед самыми гнусными измышлениями, — ВЧК не считает возможным удовлетворять подобные ходатайства.

Если только у ЦК РКП нет особых соображений, чтобы считать пребывание того или иного литератора за границей более желательным, чем в Советской России, — ВЧК с<о> своей стороны не видит оснований к тому, чтобы в ближайшем будущем разрешать им выезд.

Во всяком случае, мы считали бы желательным разрешение подобных вопросов передавать в Оргбюро [ЦК РКП(б)].

Нач<альник> Ино<странного> [отдела] ВЧК Л. Давыдов

Личный секретарь Рудников».

Кто таков был личный секретарь начальника Иностранного отдела ВЧК Рудников — история советской тайной политической полиции подробностей не сохранила. А вот кем был сам подписавший данную бумагу первым товарищ Давыдов — историкам советских спецслужб известно очень хорошо.

Прежде всего — был он никакой не Давыдов, и инициал «Л.» не имел к его подлинному имени ни малейшего отношения. Человека этого звали Яков Давтян, был он профессиональный большевик-террорист, в годы Гражданской войны попавший на службу к Дзержинскому. Благодаря проявленным на этой службе способностям Давтян сумел завоевать благосклонность Железного Феликса, следствием чего стало назначение его в ноябре 1920 года начальником новосозданного на Лубянке отдела — Иностранного, ориентированного на борьбу с российской белой эмиграцией.

В данной конкретной ситуации товарищ Давтян, он же Давыдов, действовал, руководствуясь собственными представлениями о том, как следует поступать с идейными врагами большевистского режима, на службе у которого он состоял и частью которого являлся.

## Бесовской хоровод

Судя по реакции Вячеслава Молотова, докладная записка начальника Иностранного отдела ВЧК пришлась ему весьма по сердцу. Об этом свидетельствует резолюция, оставленная им на тексте данного документа:

«Копии всем членам орг<анизационного> бюро для ознакомления. По пункту (1) ответить, что ЦК с этим вполне согласен (о выезде литератор<ов> и др., в тех случаях, когда ВЧК находит нужным, передавать на орг<анизационное> бюро). 29/VI. В. М.».

Пунктом под номером «1» Молотов обозначил фразу из письма Давтяна, в которой тот выражал желание Лубянки передавать все «сомнительные» случаи, связанные с предоставлением разрешения на выезд за границу, на рассмотрение Оргбюро ЦК РКП(б).

На следующий день Молотов направил начальнику Иностранного отдела ВЧК официальный ответ, из которого явствовало, что он инициативу Давтяна полностью поддерживает:

«30 июня 1921 г. № 3602.

В Иностранный отдел ВЧК.

На № 5937/с от 28/VI сообщаю, что ЦК согласен на внесение в Оргбюро вопросов о выезде литераторов за границу в тех случаях, когда ВЧК находит это нужным.

Секретарь ЦК».

Что всё это означало? Это означало то, что на пути удовлетворения ходатайств «литераторов и др.», стремящихся покинуть изнасилованную большевиками Россию, возникал дополнительный заградительный барьер под названием «Оргбюро ЦК РКП(б)».

Организационное бюро было образовано в марте 1919 года на VIII съезде большевистской партии. По замыслу Ленина и Троцкого, эта структура призвана была руководить организационной работой возглавляемой ими партии. В компетенцию Оргбюро вошли вопросы партийного строительства, то есть «вращения» кадров для упрочения большевистской диктатуры, а также множество сопутствующих — от проведения агитации и пропаганды за советскую власть до борьбы с агитацией и пропагандой против советской власти. При этом все главнейшие — жизненно для большевистской партии важные — вопросы решались на заседаниях высшего властного органа — Политбюро ЦК РКП(б), вопросы стратегического планирования — на собираемых по три-четыре раза в год пленумах ЦК РКП(б), а всё, что считалось повседневной рутинной, попадало на рассмотрение к тем, кто входил в состав Оргбюро. В котором первую скрипку в ту пору играл секретарь ЦК Вячеслав Молотов, в будущем ставший функционером № 2 в системе властной иерархии сталинской террористической диктатуры.

Применительно к данной истории всё это означало то, что «литераторам и др.», желающим как можно быстрее оказаться за пределами территории, нахо-



*Богданов, Горький и Ленин играют в шахматы. 1908*

дящейся под властью большевиков, отныне будет гораздо сложнее получить выделенное разрешение на выезд из Советской России, да и времени на ожидание рассмотрения их ходатайства придётся тратить много больше, чем прежде.

Тем не менее, как показало развития дальнейших событий, секретарь ЦК Молотов, солидаризуясь с инициативой гэбиста Давтяна, рановато радовался. Он не учёл того обстоятельства, что копии докладной записки начальника Иностранного отдела ВЧК в тот же самый день — 28 июня 1921 года — были направлены также в Политбюро ЦК РКП(б) — персонально на имя Льва Троцкого, и в Управление делами Совнаркома РСФСР — на имя его начальника Николая Горбунова.

О реакции на инициативу, проявленную Давтяном и поддержанную Молотовым, со стороны Троцкого ничего не известно. А вот Горбунов — несомненно, выполняя распоряжение, полученное от собственного начальства, то есть от Ленина, — два дня спустя направил в ЦК РКП(б) записку следующего содержания:

«2 июля 1921 г. № 7967/уп.

С<овершенно> секретно. В<есьма> срочно.

ЦК РКП тов. Молотову.

Посылаю Вам дело о выдаче разрешения поэту А. А. Блоку выехать за границу — (на пяти страницах). Из переписки Вы увидите, что ВЧК отказывается решать такие вопросы и просит пересылать их предварительно к Вам на заключение. Заключение Ваше по этому делу прошу Вас прислать мне со всеми прилагаемыми при сём материалами.

Управдел СНК Н. Горбунов».

Молотов на письмо Горбунова отвечать не стал — вероятно, посчитав, что не его это боярская забота — какому-то управделу про какого-то писаку отвечать. Он гнул свою линию — «контрреволюционно настроенную» интеллигенцию надлежит хватать, давить, душить, тащить и не пущать. В особенности за границу.

Прошло ещё пять дней. «Блоковский вопрос» по-прежнему стоял на мёртвой точке. Максим Горький, по-видимому, был вне себя от раздражения и постоянно пихал наркомпроса Луначарского в бок своим острым писательским локтем — чтобы тот начал хоть что-то предпринимать. И Луначарский наконец не выдержал:

«8 июля 1921 г. № 5469.

В Наркоминдел т. Чичерину.

Копия в Особотдел [ВЧК] т. Менжинскому.

Копия в Управление делами Совнаркома т. Горбунову.

Общее положение писателей в России чрезвычайно тяжёлое. Вам, вероятно, известно дело об отпуске за границу Сологуба и просьбы о том же Ремизова и Белого; но особенно трагично повернулось дело с Александром Блоком, несомненно самым талантливым и наиболее нам симпатизирующим из известных русских поэтов. Я предпринимал все зависящие от меня шаги, как в смысле разрешения Блоку отпуска за границу, так и в смысле его устройства в сколько-нибудь удовлетворительных условиях здесь. В результате Блок сейчас тяжело болен цингой и серьёзно психически расстроен, так что бояться тяжёлого психического заболевания.

Мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучили его. Само собой разумеется это будет соответственно использовано нашими врагами. Моей вины тут нет потому, что я никогда не отказывал ни на одно ходатайство, как Блока, так и других писателей того же типа, поддерживал всячески их просьбы, но со стороны петроградских продовольственных и советских учреждений, равно как и со стороны Особ<ого> отдела я наталкивался либо на прямой отказ, либо на систематическое неисполнение принимаемых на себя обязательств (например, с академическим пайком). Между тем перед общественным мнением России и Европы я являюсь в первую голову ответственным за подобные явления. Поэтому я ещё раз в самой энергичной форме протестую против невнимательного отношения ведомств к нуждам крупнейших русских писателей и с той же энергией ходатайствую о немедленном разрешении Блоку выехать в Финляндию для лечения.

Нарком по просвещению А. Луначарский

Секретарь А. Флаксерман».

На следующий день, 9 июля Горбунов переслал копию письма Луначарского — Молотову, с напоминанием о том, что тот до сих пор не удосужился ответить на его предыдущее письмо недельной давности. Но Молотов и на сей раз отвечать не стал — что ему этот Горбунов.

Между тем Луначарский уже жал на все педали, дёргал за все верёвки и трезвонил во все колокола. 11 июля он обратился по «блоковскому вопросу» на са-

мый верх — персонально к Ленину, — понимая, что только таким образом можно сдвинуть с мёртвой точки неповоротливую большевистскую бюрократию. Явно не желая утруждать себя хотя бы видимостью уважительного тона, наркомпрос информировал предсовнаркома о забуксовавшем деле и впервые называл фамилию того, по чьей вине это происходит:

«Поэт Александр Блок, в течение всех этих четырёх лет державшийся вполне лояльно по отношению к Советской власти и написавший ряд сочинений, учтённых за границей как явно симпатизирующий Октябрьской революции, в настоящее время тяжело заболел нервным расстройством. По мнению врачей и друзей, единственной возможностью поправить его является временный отпуск в Финляндию. Я лично и т. Горький об этом ходатайствуем. Бумаги находятся в Особ<ом> отделе [ВЧК], просим ЦК повлиять на т. Менжинского в благоприятном для Блока смысле.

Народный комиссар по просвещению А. Луначарский».

Прочитав письмо, Ленин в тот же день переправил его помянутому Луначарским гэбисту Вячеславу Менжинскому, бывшему не только начальником Особого отдела, но и правой рукой председателя ВЧК Феликса Дзержинского, сопроводив просьбой — вернуть с отзывом. Менжинский отреагировал мгновенно:

«Уважаемый товарищ!

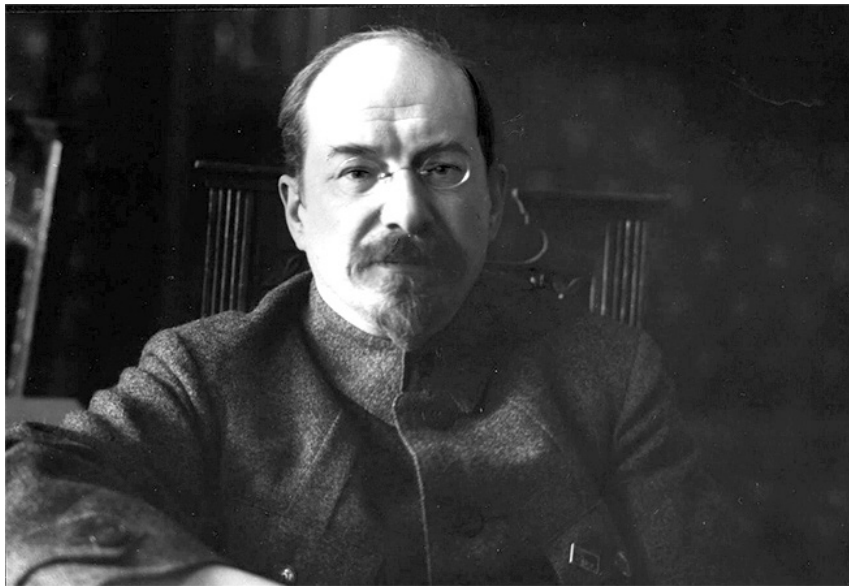
<...> Блок натура поэтическая; произведёт на него дурное впечатление какая-нибудь история, и он совершенно естественно будет писать стихи против нас. По-моему, выпускать не стоит, а [следует] устроить Блоку хорошие условия где-нибудь в санатории.

С ком<мунистическим> пр<иветом>

В. Менжинский».

Аргументация — сильная, что и говорить. Собственно, такая же, как та, которую использовал гэбист Давтян, называвший себя Давыдовым, когда информировал Молотова о том, что Чека не считает возможным удовлетворять ходатайства о выезде за границу литераторов, способных заниматься «самыми гнусными измышлениями». Сформулировано, конечно, не таким протокольным языком, а попроще, с лёгким юмористическим оттенком. Вот только чего стоит власть, которую охраняют те, кто боятся антиправительственных стишков, — это, как говорится, вопрос отдельный.

На следующий день, 12 июля, наконец состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б), на котором в числе прочих был рассмотрен и «блоковский вопрос». В заседании приняли участие четыре полных члена — Ленин, Троцкий, Зиновьев и Каменев и один кандидат — Молотов. В результате голосования ходатайство Луначарского и Горького о выезде Блока на лечение за границу было отклонено тремя голосами против двух. О чём и была составлена соответствующая выписка из протокола заседания № П50/2, каковую в тот же день послали Луначарскому — для сведения.



*Анатолий Луначарский, Нарком просвещения, 1923*

Тогда же — следующим пунктом повестки дня — Политбюро рассмотрело прошение о выезде за границу, поступившее от ещё одного петроградского литератора — Фёдора Сологуба. По отношению к этому убеждённому врагу советской власти высшие бонзы большевистского режима решили проявить великодушие — и позволили Фёдору Кузьмичу убираться из своих владений на все четыре стороны. Что и было отражено в том же самом протоколе — в следующем за «блоковским» пункте.

Однако обстоятельства иной раз складываются таким образом, что даже решения Политбюро остаются не более чем буквами на бумаге. Что со всей очевидностью и продемонстрировали последующие события.

## **Дьяволиада в действии**

Узнав о том, что большевики запретили медленно умирающему Блоку покидать пределы Советской России, Максим Горький был чрезвычайно раздосадован. Негодование его было, по-видимому, столь велико, что «пролетарский классик» написал длинное письмо Ленину, в котором выплеснул на голову Ильича все накопившиеся у него за последние месяцы обиды и претензии. В числе коих, разумеется, присутствовал и «казус Блока». Горький не мог понять — что происходит:

«Честный писатель, не способный на хулу и клевету по адресу Совправительства, А. А. Блок умирает от цинги и астмы, его необходимо выпустить в Финляндию, в санаторию. Его — не выпускают, но, в то же время, выпустили за гра-

ницу трёх литераторов, которые будут хулить и клеветать, — будут. Я знаю, что Соввласть от этого не пострадает, я желал бы, чтоб за границу выпустили всех, кто туда стремится, но я не понимаю такой странной политики: она кажется мне подозрительной, нарочитой».

Что касается троих помянутых «буревестником революции» литераторов-клеветников, милостиво отпущенных Лениным и его приспешниками за границу, то помимо уже известного Фёдора Сологуба Горький имел в виду, судя по всему, Константина Бальмонта и Алексея Ремизова. Первый уже больше года как пребывал за пределами досягаемости Совправительства, второй доживал на подконтрольной ему территории последние дни, укладывая чемоданы и готовясь отправиться в дальнюю дорогу — из Петрограда в Берлин.

О том же, как воспринял присланную ему выписку из протокола № 50/2 нарком просвещения РСФСР, даёт представление то, как он на неё отреагировал. 16 июля Анатолий Луначарский направил в ЦК РКП(б) пространное письмо, в котором с неприкрытым сарказмом издевался над решением Политбюро запретить выезжать за границу больному Блоку и в то же время позволить выехать вполне здоровому Сологубу:

«Сообщённые мне решения ЦК РКП по поводу Блока и Сологуба кажутся мне плодом явного недоразумения. Трудно представить себе решение, нерациональность которого в такой огромной мере бросалась бы в глаза. Кто такой Сологуб? Старый писатель, не возбуждающий более никаких надежд, самым злостным и ядовитым образом настроенный против Советской России <...>. И этого человека, относительно которого я никогда не настаивал, за которого я, как народный комиссар просвещения, ни разу не ручался (да и было бы бессовестно), <...> вы отпускаете. Кто такой Блок? Поэт молодой, возбуждающий огромные надежды, вместе с Брюсовым и Горьким главное украшение всей нашей литературы, так сказать, вчерашнего дня. Человек, о котором газета “Таймс” недавно написала большую статью, называя его самым выдающимся поэтом России и указывая на то, что он признаёт и восхваляет Октябрьскую революцию.

[И вот] Блок заболел тяжёлой ипохондрией и выезд его за границу признан врачами единственным средством спасти его от смерти. Но вы его не отпускаете. <...> ЦК <...> совершает грубую ошибку. Могу вам заранее сказать результат, который получится вследствие вашего решения. Высоко даровитый Блок умрёт недели через две, а Фёдор Кузьмич Сологуб напишет по этому поводу отчаянную, полную брани и проклятий статью, против которой мы будем беззащитны, т<ак> к<ак> основание этой статьи, т<о> е<сть> тот факт, что мы уморили талантливейшего поэта России, не будет подлежать никакому сомнению и никакому опровержению».

И только после этого в машине большевистской бюрократии наконец что-то звякнуло, тренькнуло, щёлкнуло, заскрежетало, повернулись какие-то ржавые шестерёнки, из трубы вылетел вонючий керосиновый выхлоп — колымага дёр-



нулась, тронулась с места и, дребезжа и покачиваясь из стороны в сторону, пока-тила по булыжной мостовой.

На очередном заседании Политбюро ЦК РКП(б), состоявшемся 23 июля, во-прос о ходатайстве Луначарского и Горького за Блока был рассмотрен повторно. В результате переголосования Ленин примкнул к Троцкому и Каменеву, которые изначально выступали за то, чтобы Блока выпустить, а Молотов воздержался. Против того, чтобы отпустить Блока умирать за границу, высказался, как и пре-жде, один Зиновьев. Который проявил большевистскую принципиальность не столько по причине того, что хотел в очередной раз дать понять Горькому, что тот для него, Зиновьева, — пустое место, сколько по сугубо личным мотивам. То есть памятью о недавнем конфликте Блока с его, Зиновьева, свояком — Ильёй Ионовым (Бернштейном), большевиком-самодуром и психопатом, который воз-главлял Петроградский отдел Государственного издательства РСФСР и в силу особенностей своего характера пытался наложить запрет на издание стихов Блока в неподвластном ему издательстве «Алконост», принадлежавшем Самуилу Алянскому, — и одновременно пытался принудить к сотрудничеству с его Петро-гизом. За что ему же, Ионову, пришлось потом приносить Блоку официальные извинения в письменном виде. А таких унижений, доставленных его семейству, Зиновьев, будучи по натуре существом крайне злопамятным и мстительным, ни-кому не забывал и не прощал.

О том, что запрет на выезд за границу для Блока отменён, немедленно довели до сведения Луначарского. Тот сообщил об этом Горькому, который немедленно начал собираться в Петроград, куда и выехал на следующий же день, 24 июля. Однако покинуть Москву в приподнятом душевном состоянии ему на сей раз не удалось. Поскольку на том же заседании Политбюро ЦК РКП(б), где было пере-голосовано решение по «блоковскому вопросу», точно так же было переголосова-но и другое — по «вопросу сологубовскому». Результат этого переголосования был в точности таким же — диаметрально противоположным первому. То есть разрешение на эмиграцию, выданное Фёдору Сологубу 12 июля 1921 года, было аннулировано, и выезд из Советской России ему был запрещён.

Как гласил получивший широкое распространение в те дни околоремлёв-ский апокриф, когда Горький узнал о том, что произошло с «делом Сологуба», он якобы задал сообщившему ему об этом Луначарскому единственный вопрос: «Они что там — все сбрендили?» На что тот якобы ответил: «Алексей Мак-симович! Ну неужели вы не понимаете? Мы же должны им всем — (широкий жест руками в пространство от собственного туловища) — показать, кто здесь власть! А то бояться перестанут!..» — «Идиоты...» — махнул рукой Горький и поехал на вокзал. О том же, что через несколько лет в России появится писатель, который с невероятным сарказмом опишет механизм функционирования боль-шевистской бюрократии и назовёт его единственно верным и точным термином — «Дьяволиада», — об этом Горький тогда ещё и не догадывался.

## В преддверии агонии

В то время, когда по кремлёвским коридорам и закоулкам вертелся бесовской бюрократический хоровод, физическое состояние находившегося в Петрограде Александра Блока продолжало быстро ухудшаться. И не только оно одно.

Когда именно его невротическое состояние стало трансформироваться в явно выраженную психическую болезнь, точно неизвестно. По-видимому, этот процесс начался с первых же дней заболевания, то есть ещё в середине мая. И такие запомнившиеся Любови Менделеевой неадекватные выходки мужа, как беспричинное смахивание со стола на пол различных находящихся на нём предметов или уничтожение кочергой гипсового бюста Аполлона, были всего лишь первыми явно выраженными симптомами. К той же симптоматике можно отнести и то, что в июне Блок начал жечь свои архивы, о чём делал записи в дневнике, пока ещё был в состоянии эти записи делать.

Последняя запись в блоковском дневнике — во всяком случае, в опубликованном его тексте — имеет дату «3 июля 1921 года». Тогда же, в первых числах июля Блок полностью прекратил вести переписку. По утверждению Надежды Нолле-Коган, последнее полученное ею от Блока письмо было датировано 2 июля 1921 года. Исходя из того, что и последняя дневниковая запись, и последнее написанное Блоком письмо не вызывают никаких подозрений в том, что они написаны психически неадекватным человеком, можно предположить, что сходить с ума по-настоящему поэт Блок начал уже после 3 июля 1921 года. Подтверждением данному предположению является цитата из книги Марии Бекетовой:

«За месяц до смерти рассудок больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражительности, удручённо-апатичном состоянии и неполном сознании действительности. Бывали моменты просветления, после которых опять наступало прежнее. <...> Психастения (*читай: неврастения*. — П. М.) усилилась и, наконец, приняла резкие формы. Последние две недели были самые острые. Лекарства уже не помогали, они только притупляли боль и облегчали одышку».

Используя данное свидетельство, следует иметь в виду, что его автор очевидно происходящего не был — всё, что относится в книге Бекетовой к последним месяцам жизни её племянника, описано со слов его вдовы — Любови Менделеевой, которая была для первого биографа Александра Блока почти единственным источником информации о его болезни и смерти. То, что об этом же рассказывала ей младшая сестра, Александра Кублицкая-Пиоттух, вряд ли содержало сколько-нибудь полную картину происходящего, поскольку мать Блока к больному сыну почти не допускалась её невесткой — «чтобы не волновать Сашеньку». Что именно рассказывал ей о течении болезни и обстоятельствах смерти Блока его лечащий врач Александр Пекелис — и рассказывал ли что-либо вообще — также неизвестно.

Однако другие косвенные источники подтверждают то, что писала Бекетова. По утверждению Надежды Павлович:

«Александр Александрович страдал от воспаления аорты <...>, но страшно прогрессировало его психическое заболевание. <...> Временами на него находили приступы ярости. Он кочергой разбил бюст Аполлона, начинал оскорблять Любовь Дмитриевну. Физические страдания в последние дни были так ужасны, что его стоны и вскрикивания были слышны на улице со второго этажа».

Надежда Павлович в той части своих воспоминаний, где рассказывается о последних днях жизни Блока, пользовалась сведениями также в основном «из вторых уст». Поскольку после того как ещё в начале марта Блок порвал с нею не только интимные, но и вообще любые отношения и, как следствие, отказал ей от дома, всякое общение между ними было прекращено. В первые недели болезни Блока её вообще не было в Петрограде, а когда она туда приехала, попасть в его квартиру у неё не было никакой возможности — во-первых, потому, что Блок сам не хотел её больше видеть, ещё когда был вполне здоров, во-вторых, по причине того, что её ненавидела Любовь Менделеева — так, как может ненавидеть всякая законная жена невестку откуда взявшуюся любовницу своего мужа.

По утверждению ещё одной блоковской любовницы — Евгении Книпович (которая занимала это место до появления в его жизни Надежды Павлович, и которую его жена как-то научилась переносить), на последней декаде июля состояние Блока резко ухудшилось — настолько, что всем, кто мог его тогда видеть, со всей очевидностью стало ясно, что конец приближается стремительно. В письме, адресованном Корнею Чуковскому, Евгения Книпович сообщала о последних днях Блока:

«Он не мог уловить и додумать ни одной мысли, а сердце причиняло всё время ужасные страдания, он всё время задыхался. Числа с двадцать пятого [июля] наступило резкое ухудшение, думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа он уже почти всё время был в забытии, ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забуду. Ему впрыскивали морфий, но это мало помогало».

Жить «первому поэту революции» оставалось меньше двух недель.

## Крик отчаяния

Сразу же по возвращении из Москвы Горький сообщил Любви Менделеевой, что разрешение на выезд её мужа за границу для лечения наконец получено. Однако то, что он узнал от жены Блока о его состоянии при их встрече 27 июля, Горького никак порадовать не могло. Поскольку именно в те самые дни в состоянии больного произошли драматические изменения, следствием которых стало его полное умопомешательство. Соответственно, невозможность поездки Блока куда-либо — а тем паче за границу — без сопровождения стала очевидной. Разрешение же на выезд было дано Лениным и компанией только самому Блоку и никаких сопровождающих не предусматривало. Кроме того, само по себе это разрешение недорого стоило: помимо него для выезда в Финляндию необ-

ходимо было оформить заграничный паспорт. А это, в свою очередь, требовало написания заявления с указанием цели поездки, заполнения выездной анкеты и предоставления трёх фотографий. После чего весь пакет документов надлежало отправить в Москву и, снова запасясь терпением, ждать, когда оттуда пришлют готовый паспорт и выездную визу. Применительно же к случаю Блока изготовить все необходимые документы было уже просто невозможно: психически больной человек не то чтобы заполнить анкету и связно изложить на бумаге надобность в заграничной поездке — просто понять, что от него требуют, может быть не в состоянии. Разумеется, выполнить все эти формальности за Блока вполне могла его жена, а ему бы осталось только документы подписать. Но о том, чтобы позволить ему ехать самостоятельно — притом, что в то время он уже и на ногах-то не стоял, — этого она себе представить не могла. О чём и рассказала Горькому, ничего не приукрашивая и от него не скрывая.

Несомненно, прямым следствием разговора с женой Блока стала телеграмма, на следующий же день отправленная Горьким в Кремль:

«Петроград. 28 июля 1921 года.

Срочно. Москва. Кремль. Луначарскому.

У Александра Блока острый эндокардит. Положение крайне опасно. Необходим спешный выезд <v> Финляндию. Решительно необходим провожатый. Прошу вас хлопотать о разрешении выезда жене Блока. Анкеты посылаю. Спешите, иначе погибнет.

М. Горький».

Первого августа 1921 года Любовь Менделеева отправила Максиму Горькому полное отчаяния от осознания собственного бессилия письмо. В нём, признав, что она оказалась не в состоянии написать прошение о выдаче загранпаспорта и заполнить анкету за фактически уже невменяемого мужа — объясняя это тем, что она «натолкнулась на болезненное, происходящее от той глубокой и мучительной полосы невралгии, которая сейчас подавляет Ал<ександра> Ал<ександровича>, нежелание ничего предпринимать для своего спасения и неверие в осуществимость его», — жена умирающего Блока заклонила адресата:

«Ещё раз прошу Вас о помощи. Благодаря Вам Ал<ександр> Ал<ександрович> получил пропуск за границу; положение его теперь очень тяжёлое, и воспользоваться поездкой нужно бы как можно скорее, если наступят дни некоторого улучшения. Поэтому мой пропуск решает всё дело; если он опоздает — пропуск Ал<ександра> Ал<ександровича> может оказаться уже бесполезным. Спасайте его, Алексей Максимович, требуйте мой пропуск сейчас же, в течение нескольких дней».

Что мог предпринять в сложившейся ситуации Максим Горький? Фактически — ровным счётом ничего. Вероятнее всего, он всё понял — прежде всего то, что любые хлопоты за Блока становятся просто бесполезны, поскольку спасти его жизнь уже невозможно. Последним известным документом, свидетельствующим об участии Максима Горького в попытке спасения Александра Блока,

является письмо, отправленное им его жене 2-го или 3 августа 1921 года. В нём, обращаясь к Любови Менделеевой подчеркнуто официально — «госпожа Блок», он информировал:

«Ваши анкеты и карточки были отправлены мною в Москву на другой день по получении их от Вас.

Вчера я спрашивал по телефону — разрешён ли Вам выезд? — отвечено: “Ещё не рассматривался Ос<обым> отд<елом>, но — без сомнения — будет разрешён на этой неделе”.

Привет А<лександр> А<лександрович>.

А. Пешков».

Между тем в Кремле большевистская бюрократия продолжала вертеться в своём бесовском хороводе. 1 августа наркомпрос Луначарский послал записку в ЦК РКП(б):

«Прилагая при сём срочную телеграмму М. Горького (от 28 июля 1921 г. — П. М.) об отпущенном, согласно решения ЦК РКП, А. Блоке, очень прошу ЦК признать возможным выезд жены его и уведомить об этом решении Наркоминдел и ВЧК».

Вячеслав Молотов наложил на эту холопскую челобитную боярскую резолюцию: «Возражений не встречается».

Ещё четыре дня потребовались на то, чтобы дожать ведомство Дзержинского и Менжинского, то есть Лубянку, и изготовить для Блока и его жены загранпаспорта и выездные визы.

Наконец в телеграмме, отправленной из Москвы в Петроград 6 августа 1921 года, Луначарский — используя стилистику молотовской резолюции на его прошение — информировал Горького:

«К выезду жены Блока <со> стороны высшего органа возражения не встречаются».

По логике развития истории, Горький должен был ответить Луначарскому телеграммой, состоящей из одного слова — «Поздно». Как вариант — присовокупив к нему ещё несколько слов из категории инвективной лексики, в которых упоминались бы матери Луначарского, Ленина, Зиновьева и прочей большевистской камарильи. Так, без сомнения, поступил бы Иван Бунин, находись он на месте «буревестника революции». Но для Горького использование матерных выражений как в литературе, так и в человеческом общении было абсолютно неприемлемо, поэтому он, по-видимому, не стал отвечать вовсе. Да и что он мог ответить, когда и так всё уже было ясно.

## Инфернальное безумие

В первые дни августа 1921 года жильцы дома № 57 на Офицерской улице пребывали в состоянии сильнейшего эмоционального стресса — от того, что творится в квартире № 23 на втором его этаже. В квартире же творилось натуральное

безумие. Умиравший поэт Александр Блок практически круглосуточно бредил, оглашая окрестности дикими, совершенно нечеловеческими воплями. Он кричал так, как кричит хищный зверь — волк или тигр, угодивший лапой в поставленный человеком капкан. И в этом крике слышны все испытываемые зверем чувства: боль, отчаяние, злоба, ярость и ненависть — и к самому себе, столь опрометчиво попавшему в дьявольскую стальную пасть, и к тому или к тем, по чьей вине он теперь погибает, истекая кровью и сходя с ума от невыносимой боли.

Главной темой блоковского бреда последних дней была поэма «Двенадцать». Будучи вне себя от терзавших его в беспомощности кошмаров, выходя из наркотического забытья (инъекции морфия лишь ненадолго погружали его в это состояние), Блок начинал кричать диким голосом, требуя от жены, чтобы она немедленно — не-мед-лен-но! — собрала все имеющиеся в квартире экземпляры этого сочинения и сожгла их в печке. И не только те, что были в их квартире, но и те, что он когда-то раздарил своим друзьям и приятелям — Иванову, Зоргенфрею, тому же Горькому. Чтобы нигде в мире не осталось ни единой — ни-е-ди-ной! — копии этой мерзости. Задыхаясь от приступов удушья, Блок хрипел, утверждая, что поэма душил его, как могильная плита, и не даёт вздохнуть. Стремясь успокоить бредящего мужа, Любовь Менделеева бесчётное количество раз повторяла, что она выполнила его требование, что все имевшиеся в их доме копии «Двенадцати» она собрала и сожгла и что нигде больше экземпляров поэмы тоже не осталось. Блок ненадолго успокаивался, но затем начинал кричать снова, утверждая, что Люба его обманывает и что он точно знает, что одна книжка имеется в Кремле, у Ленина, и что её тоже необходимо отобрать и сжечь. И так далее. Всё это разносилось по дому, проникая через капитальные перекрытия между этажами и выплёскиваясь из окон на улицу, приводя в ступор прохожих.

Ужас, охвативший обитателей соседних с блоковской квартир, был совершенно inferнальным. В самой же квартире № 23 находилась было просто невыносимо — настолько, что из неё сбежал даже матрос Сашка — тот самый, что был принудительно подселён к Блокам в 1920 году в порядке проводимого большевиками «уплотнения буржуёв». Этот персонаж, вселившийся в квартиру Блока вопреки его попыткам этого не допустить, вёл себя в ней точно так же, как булгаковский Шариков в квартире профессора Преображенского — скандалил, пьянствовал, приводил в занятую им комнату уличных проституток и, накачиваясь в их компании невесть откуда взятым спиртом, орал по ночам «р-революционные» песни. В состоянии алкогольного опьянения матрос имел привычку терроризировать блоковское семейство, обзывая «первого поэта революции» «буржуем» и «контрой» и грозясь поставить его к стенке — естественно, «в порядке революционного правосудия». Протрезвев, косноязычно просил прощения и обещал, что больше не будет. После чего напивался снова и принимался дебоширить ещё пуще прежнего.

Всё это причиняло Блоку невероятные душевные страдания ещё до того, как он душевно заболел. У его идеологических оппонентов же эта история не вызывала ничего кроме откровенного злорадства. Особенно у тех, кто оказался в вынужденной эмиграции. Так, в начале 1920-х годов в «Русском Париже» получила широкое распространение байка про то, как отреагировала на известие об «уплотнении» блоковской квартиры матросом Сашкой зловредная поэтесса Зинаида Гиппиус, получившая тогда же за свой донельзя ядовитый язык от Владислава Ходасевича кличку — Мадам Гэпиус. Узнав о том, что в квартиру Блока принудительно вселили «р-революционного» матроса, Гиппиус якобы ухмыльнулась и прокомментировала эту новость следующими словами: «Эх, жаль, что только одного... Надо бы — двенадцать!»

## Как чушка — поросёнка

Днём 4 августа 1921 года в комнату к Владиславу Ходасевичу, проживавшему тогда в Доме Искусств на углу Невского проспекта и набережной Мойки, вбежала Надежда Павлович. По внешнему виду поэтессы было видно, что она находится в состоянии сильнейшего эмоционального стресса. Не сдерживая рыданий, она стала рассказывать Ходасевичу, что только что была у Блока и что у него началась агония. Попасть в блоковскую квартиру Павлович смогла только после того, как доктор Пекелис убедил его жену написать свекрови и позволить той приехать, чтобы проститься с умирающим сыном. Любовь Менделеева вынужденно согласилась, понимая, что, если она этого не сделает, на её голову обрушатся такие проклятия, что мало не покажется. Мать Блока была вызвана из Луги и 3 августа приехала в Петроград. Поскольку у неё, в отличие от невестки, отношения с последней любовницей её сына сложились вполне приятные, Павлович, воспользовавшись этим, смогла проникнуть в квартиру и увидеть то, что ввергло её в состояние истерики, выплеснувшейся затем на голову Ходасевича. Десять лет спустя, вспоминая эту крайне неприятную историю, Ходасевич писал:

«Я стал, как водится, утешать её, обнадёживать. Тогда, в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлёбываясь слезами, сказала:

— Ничего вы не знаете... никому не говорите... уже несколько дней... он сошёл с ума!»

Сообщая эту страшную новость, Павлович, по-видимому, не знала, что она не станет для Ходасевича шокирующей. О том, что Блок окончательно помешался, весь литературный Петроград знал уже больше недели — в этой среде такие известия распространяются со скоростью горящего сухого камыша. Кроме того, если бы Павлович не находилась в истерике, она бы наверняка смогла заметить, что тот, с кем она разговаривает, сам пребывает в состоянии, далеко не самом эмоционально выдержанном.

Дело было в том, что минувшей ночью, всего несколько часов назад, здесь же, в Доме Искусств, в соседней с Ходасевичем комнате был арестован гэбистами



*Николай Гумилёв, Зиновий Гржебин, Александр Блок, 1919 год*

Николай Гумилёв. Соответственно, с раннего утра весь Дом Искусств гудел, как вылетевший из ульев пчелиный рой. Каждый литератор думал только об одном: «Если сегодня ночью они взяли Гумилёва, то завтра ночью они придут за кем-нибудь ещё... За мной?» О том же думал и Владислав Ходасевич, собиравший вещи для поездки в Порхов, уездный городок Псковской губернии, куда по заранее выписанной командировке он должен был отбыть вечером этого дня. И, вне всякого сомнения, молил Бога о том, чтобы ему удалось покинуть Петроград раньше, чем его арестуют. О том, что Гумилёв будет обвинён в участии в пресловутом «Таганцевском заговоре», в тот момент никто из обитателей Дома Искусств ещё и понятия не имел. Однако ни для кого из них не было секретом, что, находясь на оккупированной большевиками территории, идейный вдохновитель «Цеха поэтов» поступал совершенно безрассудно: проходя мимо церквей, демонстративно осеял себя крестным знаменем, то и дело, не обращая внимания на то, среди каких людей находится, декларировал свои монархические убеждения — и вообще вёл себя так, будто никакой большевистской власти вокруг него не существует.

Владиславу Ходасевичу повезло: через несколько часов ему удалось беспрепятственно покинуть Петроград, куда он вернулся только 16 октября — то есть спустя почти два с половиной месяца. К тому времени следствие, проводившееся Петроградской Чекой по «Таганцевскому делу», было завершено, и все, кого



на Гороховой улице, 2 посчитали «активными участниками» «Петроградской боевой организации», были уже уничтожены. Таковых оказалось 104 человека, казнённых в три приёма между концом августа и серединой октября. Первая из трёх групп приговорённых к ликвидации «контрреволюционеров и их пособников», была перебита где-то в петроградском пригороде в ночь с 25-го на 26 августа. В числе 57-ми расстрелянных той ночью был и 35-летний поэт Николай Гумилёв. Вся вина которого перед большевистской диктатурой состояла в том, что он, по показаниям одного из ранее арестованных участников «заговора», согласился написать антикоммунистическую прокламацию и получил за невыполненную работу 200 000 тогдашних советских рублей и ленту для пишущей машинки. Никакой прокламации поэт, однако, не написал, ленту же, вещь во времена «военного коммунизма» неимоверно дефицитную, наверняка использовал по прямому назначению — для печатания своих стихов. На какие надобности были потрачены им полученные деньги — следствием осталось невыясненным.

Попытки Максима Горького и других известных в Кремле петроградских литераторов спасти Гумилёва от расстрела успехом не увенчались — к тому времени «буревестник революции» Ленину уже смертельно надоел, и он перестал обращать внимание на его ходатайства за арестованных и осуждённых.

Двадцать шестого мая 1921 года, в промежутке между первым и вторым приступами начавшейся у него смертельной болезни, Александр Блок написал последнее письмо Корнею Чуковскому. В этом письме, рассказывая о своём самочувствии после возвращения из Москвы, он сообщал, что у него «ни души, ни тела нет» и что болен так, «как не был никогда ещё: жар не прекращается, и всё всегда болит». После чего с кажущейся бесстрастностью констатировал:

«Итак, <...> слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросёнка».

Эта жуткая фраза — в которой Россия была уподоблена свиноматке, пожирающей своих поросят, — является самым сильным доказательством верности утверждения, что перед смертью «первый поэт революции» наконец всё понял. И про то, что представляет собой большевистская революция, и про то, как она поступает с теми, кто является её врагами. А равно и с теми, кого, пользуясь их наивностью или недомыслием, она сначала использует в своих целях, а использовав, бестрепетной рукой бросает в слив канализации и спускает воду. Беда этих последних — в том, что они, как правило, осознают то, что с ними произошло, слишком поздно. Когда ни отыграть назад, ни исправить что бы то ни было уже не представляется возможным. А можно только отречься от содеянного и потребовать сжечь его в печке — так, чтобы не осталось ни единой копии. Сознывая, что это не поможет избежать ответственности, но надеясь на смягчение участи на предстоящем персональном Страшном суде.

## Маска смерти

Поэт Александр Александрович Блок скончался 7 августа 1921 года, между десятью и одиннадцатью часами утра по петроградскому времени. От роду ему было 40 лет, 8 месяцев и 9 дней.

Согласно получившему распространение апокрифу, в последние минуты своей земной жизни Блок вышел из состояния безумия, к нему полностью вернулись и здравый рассудок, и адекватное представление о месте и времени собственного пребывания, и представление о том, какие люди находятся рядом с ним. Придя в себя, поэт попросил жену и мать подойти к его кровати, встать по обе стороны от неё и взять его за руки — одну за правую, другую за левую. После чего, не произнеся более ни единого слова, через несколько секунд испустил дух.

Известие о смерти Блока молниеносно распространилось по Петрограду. В его квартиру на Офицерской потянулся казавшийся бесконечным поток посетителей — друзей, знакомых и просто почитателей его огромного таланта. В большинстве своём это были собратья по перу и люди близкие к искусству и литературе.

Подавляющее большинство из тех, кто оставил мемуарные свидетельства об обстоятельствах смерти Блока и последующих похорон, отмечали то, как страшно изменился после смерти его внешний облик. Таких свидетельств сохранилось множество. Приведу лишь некоторые, принадлежащие наиболее известным мемуаристам:

Евгения Книпович:

«В первую минуту я не узнала его. Волосы чёрные, короткие, седые виски; усы, маленькая бородка; нос орлиный».

Нина Берберова:

«С сильно поредевшими волосами, с тёмной бородкой и поседевшими висками, худой, с лицом, измождённым страданием, он был неузнаваем».

Вильгельм Зоргенфрей:

«Александр Александрович лежал <...> с похудевшим, изжелта-бледным лицом; над губами и вдоль щёк проросли короткие тёмные волосы; глаза глубоко запали; прямой нос заострился горбом; тело, облечённое в тёмный пиджачный костюм, вытянулось и высохло».

Владимир Вейдле:

«Вид у него и тогда уже (*весной 1921 года*. — П. М.) был измученный, обречённый. Но теперь его нельзя было узнать. Это тёмно-жёлтое, кости да кожа, чужое лицо в гробу...»

И так далее, и так далее.

Похороны состоялись трое суток спустя, днём 10 августа.

Внушительная толпа — по различным оценкам, численность её составляла от двухсот до трёхсот и более человек, — собравшись возле дома № 57 на Офицерской, дождалась выноса гроба и проследовала — по улицам и по Николаевскому



*Портрет Блока на смертном одре. Ю. Анненков, 1921*

мосту через Неву — до Смоленского кладбища на Васильевском острове. Гроб — открытый, засыпанный цветами — несли на руках шестеро литераторов, периодически сменяя друг друга. В из числе были Андрей Белый, Аким Вольнский, Владимир Гиппиус, Владимир Пяст и многие другие. Максим Горький не пришёл. Он вообще терпеть не мог похороны и страшно боялся самого вида покойников — такая уж была у него впечатлительная и ранимая душа.

Траурная процессия не могла не привлечь к себе повышенного внимания петроградских обывателей. О том, как далёкие от мира искусства горожане восприняли происходящее, вспоминал советский искусствовед Эрих Голлербах, принадлежавший к числу наиболее восторженных поклонников Блока:

«Встречные недоумевали, удивлялись торжественности похорон, спрашивали, кого хоронят, и, получив ответ, ещё больше недоумевали. <...> Одна дама спросила меня, кого хоронят. “Блох? — переспросила она с тревогой. — Бывший присяжный поверенный?” — “Нет, Блок Александр Александрович, поэт”. — “Ах, Блок... Нет, такого не слышали”. Какой-то старичок интеллигентного вида заметил сокрушённо: “Никогда про такого писателя не слышал. Я много читаю, за ли-

тературой слежу, но никакого Блока не знаю, это, наверно, так себе писателишка, третьего сорта»».

Это вот — именно то, что всевозможные интеллигентские краснобаи и демагоги имеют обыкновение именовать возвышенно — *vox populi*. Глас, то есть, народа. Того самого, за счастье которого они так стремятся пострадать и завсегда готовы отдать собственную жизнь. По крайней мере, на словах.

На кладбище никаких надгробных речей не произносилось.

Сразу же после того, как траурная церемония кончилась, руководство Петроградского отдела Всероссийского союза писателей собралось на экстренное заседание — выработать план действий по освобождению Николая Гумилёва. Рассуждали прагматически: Блок умер, его не вернуть; Гумилёв — жив, и, значит, надо сделать всё возможное, чтобы его спасти.

Они действительно сделали всё, что только было в их силах. Беда была, однако, в том, что силы оказались неравны — против сатанинской нечисти бумажные петиции бесполезны, здесь необходимы осиновые колья и пули. Желательно серебряные, но свинцовые тоже очень хорошо подходят. Это — не мои слова. Это незакавыченная цитата — из выступления перед соратниками генерала от инфантерии Лавра Георгиевича Корнилова, первого командующего войсками Добровольческой армии.

И последнее.

Девятого августа 1921 года — с момента смерти Александра Блока прошло трое суток, труп его ещё лежал в гробу в комнате квартиры № 23 на Офицерской, со дня (точнее — ночи) ареста Николая Гумилёва шесть — Владимир Ленин послал Максиму Горькому письмецо следующего содержания:

«А<лексей> М<аксимович>!

Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у вас кровохарканье (*М. Горький был болен туберкулёзом лёгких. — П. М.*) и вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно, и нерасчётливо. В Европе, в хорошей санатории, будете и лечиться и втрое больше делать. Ей-ей. А у нас — ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямитесь, прошу вас!

Ваш Ленин».

В переводе с большевистского языка на русский письмо Ленина следовало читать так: «Ты, старая сволочь! Убирайся из моих владений, пока я добренький. Проваливай немедля, понял? А не уедешь — убью».

В тот момент Горький, по-видимому, этого не понял — и продолжал упираться, не желая уезжать из России, ещё два месяца. Но когда в начале октября он наконец осознал, что ещё чуть-чуть — и подручные начальника Петроградской Чеки Семёнова придут уже за ним, — «буревестник революции», уложив чемоданы, спешно выехал из Петрограда в Гельсингфорс. Тем самым повторяя возможную траекторию движения Александра Блока, которого ему так и не удалось спасти.

## Эпилог

После смерти Александра Блока среди уцелевших от уничтожения бумаг в его архиве был обнаружен черновик некоего сочинения — не то публицистической статьи, не то эссе, не то просто заметок «для себя самого». Он не имел авторского названия, непонятно было, когда именно был начат и отчего не был завершён. Исходя из содержания этого текста, можно предположить, что написан он был или в 1920 году, или в начале 1921-го. Исходя из того же, предположить можно также то, с какой целью Блок начал его писать. По-видимому, это была попытка автора «Двенадцати» осмыслить на бумаге то, что произошло с Россией после большевистской революции. В этом незавершённом сочинении имеется несколько фраз, которые очень точно выражают личное отношение Блока к тому, чем обернулась для страны и её народа катастрофа 1917 года, от последствий которой она не может оправиться до сих пор. А также то, как он понимал собственную в ней роль. Вот эти слова:

«Россия была больна и безумна, и мы (*российские литераторы*. — П. М.), её мысли и чувства, вместе с нею. Была минута, когда все чувства нашей родины превратились в сплошной безобразный крик, похожий на крик умирающего от мучительной болезни. Тело местами не чувствует уже ничего, местами — разрывается от боли, и всё это многообразие выражается однообразным ужасным криком. Этим криком был одно время Леонид Андреев, но, к сожалению, он продолжал кричать и тогда, когда уже ничто кругом не кричало, он стал пародией своей собственной, некогда подлинной муки, являя неумный и смешной образ барабанщика, который, сам себя слушая, продолжает барабанить, когда оркестр, которому он вторил, замолк».

Если продолжить эту вполне саркастическую аллюзию — сравнения литератора Леонида Андреева, изначально находившегося по другую от Александра Блока сторону идейных баррикад, с упёртым барабанщиком — и представить, на каком инструменте мог бы играть в этом писательском оркестре сам Блок, то первое, что приходит в голову — это валторна. Та самая, последняя уцелевшая из оркестра после гибели его музыкантов, продолжающая полным смертельного отчаяния голосом кричать в немое ледяное пространство: «Есть здесь кто-нибудь?.. Люди!.. Помогите!.. Отзовитесь, люди!..»